



Витторио СТРАДА

ЕСЛИ БЫ наш симпозиум, посвященный Александру Солженицыну, состоялся даже не год назад, а скажем, за несколько месяцев до прошлого августа, он частично отличался бы от того, каким, возможно, будет сейчас. Такое утверждение может показаться странным, если не подозрительным, как бы сводящим творчество этого писателя к злободневности политической хроники и тем самым обедняющим анализ и оценки, которые должны бы отвлекаться от зыбко-изменчивой реальности настоящего. А с другой стороны, поскольку выше я упомянул случившееся в России в августе этого года, у кого-нибудь может возникнуть вопрос: не придеется ли простому, хотя и важному эпизоду происходящего в бывшем Советском Союзе сложного, непредвиденного и неоднозначного процесса чрезвычайного значения?

Писатель, который более чем писатель

Возражения и недоумения эти вполне резонны, но, думаю, не затрагивают истины исходного утверждения, согласно которому критический разговор о Солженицыне сегодня отличен от того, который велся еще вчера. Отличен не потому, что сегодня можно сомневаться в величии его фигуры и творчества, и не потому, что можно принять хотя бы часть обрушенных на него бесчестных и диких поношений со стороны его советских и западных противников, а также тех диссидентов, которые в своих нападениях на писателя сконцентрировали худшее из предрассудков, присущих обоим лагерям его врагов. Речь идет о том, чтобы избежать по отношению к Солженицыну апологетики, хотя и диаметрально противоположной вышеупомянутому очернительству, но как бы в опрокину-

В конце 1991 года в Неаполе в институте «Суор Орсола Бенинказа», славящемся своим интересом к русской литературе и русской жизни, состоялся симпозиум, посвященный Александру Солженицыну. Он собрался вовремя: на Западе только что вышел последний «кузел» «Красного колеса», завершено труд, который подвел итог не только многолетним писаниям Солженицына, но и целому периоду современной литературы.

Острота повода усиливалась тем, что на родине создателя «Архипелага ГУЛАГ» начался фронтальный критический обстрел его идей и творений, ранее невозможный из-за запрета на его имя, а позже — из-за шока радости, последовавшего за снятием запрета.

Критика коммунистической эры убивала Солженицына доносами и разносами, критика посткоммунистическая стала расстреливать его попреками в литературном и политическом мессиизме.

Ничего этого не было на собрании в Неаполе. Были споры, были разборки. Была торжественная атмосфера отыскания истины, внушенная высоким именем, давшим жизнь дискуссии.

На конференции выступили: Антонио Виллани, Витторио Страда, Жорж Нива, Ирина Альберти, Михаил Геллер, Джон Донлоп, Лев Лосев, Дора Штурман, Рената Гальцева, Игорь Виноградов, Алла Латынина, Ирина Роднянская, Юрий Карякин, Григорий Померанц и автор этих строк.

Сегодня мы печатаем текст выступления профессора Витторио Страда, которым открылось обсуждение темы «Александр Солженицын. Старая и новая Россия».

Игорь ЗОЛУТУССКИЙ,
редактор «ЛГ» по разделу
русской литературы



«Феномен Солженицына» и новая Россия

том виде продолжающей его, не соответствующая сложности этого писателя.

Первый уровень этой сложности в том, что Солженицын более чем писатель. Конечно, не идеолог, ищущий в литературе не свойственные ей средства выражения, а, наоборот, писатель, для которого историко-политические размышления составляют дополнительное поле исследования. Исследования чего? Я бы сказал, прежде всего самого себя, своего самого глубинного переживания себя и мира, как это бывает у всякого настоящего писателя. Но это и исследование главнейших проблем целой эпохи, которая для родины писателя — России — отмечена печатью коммунистической революции.

Признание за Солженицыным статуса писателя, который есть более чем писатель, может показаться своего рода банальностью, согласно распространенному стереотипу, превращающему русских писателей в философов и пророков, в отличие от западных, хранящих исключительно верность литературе. В действительности же этот стереотип не выдерживает критики: известные целые эпохи в истории западноевропейских литератур, например, французской и немецкой, где властно проявляется сакральность фигуры писателя, наделенного пророческим даром, — как наследника, пришедшего заменить собою секуляризирующуюся религиозную сакральность. На западной литературе конца XVIII — начала XIX века лежит этот знак, который в глубоко преобразованных формах держится до конца XIX — начала XX века и обновляется, пройдя путь от романтизма до декаданса и авангарда.

Я говорю об этом, потому что мне кажется уместным отклонить бытующую в литературоведении тенденцию приписывать русской литературе феноменальную особенность, как будто только в ней литература возлагала на себя мегалитературную миссию. А между тем это общеевропейский процесс, принявший в России особые черты. Одна из них — сохранившееся сакральное отношение к литературе: ведь если не считать анахронических пережитков такого отношения в период антифашизма, на Западе по крайней мере уже полвека как литература десакрализована, в то время как в России этот процесс начинается только сейчас. Для нас достаточно сказать, что Александр Солженицын вовсе не аномалия, а только последний великий представитель уже принадлежащей прошлому традиции требовать от писателя, чтобы он был больше, чем писатель.

В историко-культурном контексте

Если первый уровень сложности Солженицына связан с историко-типологическим запаздыванием этой фигуры, отвечает ли второй его уровень — а именно собственно интеллектуально-художественный — историко-культурной ситуации, в которой он создает свои произведения?

Динамичность исторической ситуации, в которой Солженицын выступал и выступает, за эти последние годы резко возросла, в то время как в начале его литературной деятельности она отличалась большей степенью статичности. А верно, он сложился в ситуации, обладавшей высшей степенью статично-

сти, по крайней мере как это представлялось на поверхности, когда коммунистическая система казалась незыблемой. Дебют Солженицына состоялся, когда мощь этой системы была уже подорвана, хотя она была еще далека от обрушившейся впоследствии на нее катастрофы. Выступив в момент ее кризиса, Солженицын не наблюдал последующие его фазы, а проявил исключительно историко-ретроспективный интерес, ища в российском прошлом корни зла, приведшего его родину к упадку и запустению, став при этом еще и историком собственного автобиографического времени. В этих поминных археологических раскопках, давших начало «Архипелагу ГУЛАГ» и «Красному колесу», Солженицын оторвался от литературного дела создания романов и повестей на темы современности, совместив труд писателя и историка, по большей части принося писателя в жертву историку, зачастую, однако, властно заставляя первого заявить свои права перед вторым. Здесь Солженицын, как бы литературно ни оценивать его творчество, оказался вполне адекватным сложности исторической ситуации своего времени, в познание и постижение которой он внес вклад, превышающий вклад кого бы то ни было из его современников.

Но есть еще один уровень солженицынских взглядов, а именно тот, что касается будущего России и нероссийской части мира. Солженицын посвятил этому не литературный труд, а свою публицистическую деятельность, которая весьма отлична от деятельности философа политики. На этом третьем уровне сложности, который можно определить как этико-политический, Солженицын про-

являет силу, имеющую более негативный, чем позитивный характер, как явствует из самой формы его ставшего знаменитым фундаментального принципа «жить не по лжи». В мире, где царит систематическая и тотальная ложь, как, например, в мире коммунизма, эта формула звучит набатно, но она справедлива также и там, где господство лжи не настолько чудовищно. Но после освобождения от лжи, по крайней мере от ее гипнотической, насильственной власти, начинаются поиски истины. И тогда призыв Солженицына лишается абсолютной значимости и становится голосом относительным, отдельным голосом внутри диалога, хотя часто и неосновательно сохраняющим категоричность, вполне уместную в императивности призыва «жить не по лжи».

Меняется мир, меняются возможные прочтения Солженицына — не меняется сам Солженицын, выявляя все новые грани своего изначального ядра.

В момент, когда мир находился под господством или угрозой величайшей лжи коммунизма, противопоставить себя ей было легко. Ясно, что легкость эта была относительной, так как для этого требовалось прежде всего личное мужество, потому что господство лжи держалось на терроре. Более того, борьба с ложью требовала нравственной стойкости, так как коммунистическая ложь прикрывалась идеологической мишурой и навязывалась как террором, так и обманом, и противопоставить себя ей значило изолировать себя не только по отношению к преступным обладателям власти, но и множеству тех, кто заблуждался или был обманут.

Однако настоящие проблемы начинаются потом, когда тоталитарное чудовище испускает дух или начинает агонизировать, и тогда требуется не только предугадать каждую его конвульсию, но и теоретически и исторически осмыслить, с одной стороны, его организацию и генеалогию, а с другой — думать о жизни в условиях свободы. Ценен вклад, сделанный Солженицыным в этих двух направлениях как в прозе — романном цикле «Красное колесо», так и в публицистике, и тем не менее его нельзя не сопоставлять с вкладом других. Ведь, помимо так называемых «плюралистов», справедливо высмеянных Солженицыным, существует в мире неистребимый плюрализм, в новое время усложняющийся и возрастающий, которого не заговорить никакими магическими формулами. И определиться в этой множественности позиций можно только при помощи инструментов культуры во всем их многообразии. При этом и религия, далеко не теряя своего основополагающего значения, которого не признавали за ней и марксистская идеология, и светская культура, не может не принять формы, более адекватной новой реальности, — не в целях пассивного приспособления, а чтобы обновиться в контакте с нею, очистившись от шлаков, более вредных, чем не соответствующих времени.

Спор о новой и старой России

По этим двум направлениям и начинается спор с Солженицыным, затрагивающий старую и новую Россию, а также мир прошлого и настоящего, так как Россия не нечто самодостаточное: судьба ее неразрывно связана с судьбой всего мира. С исторической точки зрения встает проблема отношений между до-революционной Россией и Россией советской, а с точки зрения политической — проблема отношений между коммунизмом и демократией, Россией и Западом. Это ключевые проблемы солженицынских размышлений, и ключевыми они остаются в общей политической мысли внутри России и за ее пределами.

Никогда нельзя будет переоценить значения полемики Солженицына с теми западными историками, которые, исходя из схем настолько банальной, что она стала общим местом в журналистской световелогии, считают, что между Россией и СССР, царизмом и коммунизмом, российской империей и империей советской нет никакой разницы. Схема представляется настолько примитивной и упрощенной, что не требует особых умственных усилий, чтобы быть отброшенной. Но, как показывает полемика Солженицына, а также некоторых ученых, мы имеем дело с такой схемой, которая, подобно прямо противоположной ей — марксистской, убеждает многих именно в силу своей элементарности. И если сам Солженицын живо и остро кри-

тикует тезис, утверждающий преемственность между Россией до- и послеоктябрьской, то его антитезис, провозглашающий отсутствие какой-либо преемственности между этими двумя периодами, звучит неудачно, рискуя превратить Россию нашего столетия в непонятную жертву постороннего культурного и политического вмешательства. Возникает представление, что большевистская революция будто бы стала возможной в результате деятельности демонических личностей, например, так ярко представленных писателем в эпизоде, озаглавленном «Ленин в Цюрихе». Таким образом отрицается или по крайней мере смягчается ответственность России, ее культуры и ее народа за катастрофу 1917 года.

И в том, что касается отношения России и Западу, посткоммунизма и демократии, позиция Солженицына требует адекватного критического подхода. За критику западной цивилизации противники писателя обвиняют его в антизападничестве, но ведь в самой западной культуре содержатся корни и формы такой критики. Смущает не критика Запада, смущает выискивание некоего мифического нового пути, не капиталистического и не коммунистического, в поисках которого страчено столько сил, и не в одной только России. Взгляды Солженицына содержат элементы своеобразного христианского социализма. Я пользуюсь этим выражением, хотя и знаю, какую неприязнь вызывает само слово «социализм» у тех, кто десятилетиями был вынужден отождествлять это понятие с понятием коммунизма.

Можно говорить о христианском солидаризме или пользоваться любой другой терминологией для обозначения нравственного неприятия частной или коллективистской экономики. Вопрос в том, чтобы перейти от морали к экономике, не впадая в прожектерство. Соединение экономики и морали в свете христианских ценностей и принципов социального реформаторства — открытая проблема, причем не только для России, но и всего мира. Пути или попытки решения этой центральной проблемы надо искать в современной культуре, светской и религиозной, в том числе и русской культуре начала XX столетия, как это попытался сделать нынешний папа в своей последней энциклике, мимо вклада которого в эту проблематику не могут пройти и неверующие.

Непростая встреча

Величие Солженицына, последнего писателя уже угасшей великой традиции, в том, что в панораме мировой культуры и литературы он самодовлеющее явление. Если его определять как анахронизм, то надо сказать, что это парадоксально-гениальный анахронизм, поставивший себя в центр нашего столетия и поколебавший его бесплодную стабильность. Этимологически «анахронизм» означает «против», «поперек времени». Но разве быть всегда в своем времени, быть погруженным в него, отдаваясь его течению, не признак посредственности? И разве сопротивление своему ограниченному времени во имя большего времени и чего-то еще, что возвышается над ним, не признак величия?

Для свободного ума опасность не в том, чтобы стоять поперек времени, как до сих пор было с Солженицыным, а выйти из собственного времени и стать прошлым. Еще несколько месяцев назад Солженицын был гениально-парадоксальным анахронизмом, который, идя против времени, освещал его собственным светом. Сейчас историческое время ускорило настолько, что он со своим величием и ограничениями рискует отойти в прошлое. Только сам Солженицын, нарушив молчание и произнеся новое слово, скажет, что это был мнимый риск. И только вернувшись в Россию, как сейчас он может и хочет, он снова мог бы укорениться в настоящем своей родины, потому что Россия, которая его примет, — Россия новая по сравнению с той страной, которая его насильно вытолкнула. Новая благодать также и таким людям, как он сам и Сахаров, но также, против всех ожиданий, и неожиданно новая. Непростая встреча этой непредсказуемой России со своим великим писателем будет уроком политической морали и литературной деятельности, уроком, к которому мир должен будет прислушаться с критическим участием.

«Феномен Солженицына» продолжает...